

- [Макаревич Андрей, 'Машина времени'](#)
  -



# **Макаревич Андрей , 'Машина времени'**

## **Всё очень просто**

Андрей Макаревич  
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО  
(рассказики о группе)

В 1976 году случилось событие, открывшее новые горизонты в жизни "Машины времени", - нас вдруг пригласили в Таллинн на фестиваль "Таллиннские песни молодежи-76". Организовал это ЦК ЛКСМ Эстонии, и название фестиваля носило отпечаток эдакого комсомольского камуфляжа это, конечно, был рок-фестиваль, - но слово пока было запрещенное. Не помню, с помощью какого финта мы заполучили бумагу, где говорилось, что нас командируют на фестиваль. Мы ехали туда, как на самый главный праздник в своей жизни. К радости примешивалась робость: мы слышали, что в Эстонии музыкальная жизнь куда свободнее, чем в России, и что там очень сильные группы.

Поразило сразу все: красота и чистота таллиннских улочек, вежливость и серьезность местных комсомольцев, покрытых сильным рок-н-рольным налетом, - очень они были не похожи на привычных, в галстуках и с бегающими глазами. Еще поразило то, что у входа в зал Таллиннского политехнического института, где проходил фестиваль, нет толпы: оказывается, билеты давно проданы, а воспитанная эстонская молодежь не станет без толку ломиться, раз билеты все равно кончились. Это казалось невероятным. У нас-то в Москве все было иначе: самый верный способ создать толпу - это сказать, что билетов уже нет.

Мы приехали в Таллинн позже остальных участников, оказалось, что все гостиницы уже заняты, и нас повезли в какое-то студенческое общежитие, оставленное как резерв. Мы по гостиницам еще никогда не жили и никаких претензий не имели: настроение было необыкновенно приподнятое, во всем ощущалось преддверие какого-то счастья - настоящий рок-фестиваль и почти за границей. Ехали мы в эту общагу почему-то троллейбусом, в котором нам представили необыкновенно интеллигентного юношу в овчинном тулупе, явно студенческого вида, с милой спутницей и гитарой в матерчатом мешке. Звали юношу Боря Гребенщиков.

В общагу мы приехали сильно продрогшие и тут же предложили ему согреться нервно-паралитическим - наш звукорежиссер Саша Катамахин производил это адское пойло путем настаивания чистого медицинского спирта на большом количестве стручкового красного перца, привезенного специально для этой цели из Ташкента. Он всегда возил этот динамит с собой - якобы на случай простуды кого-нибудь из нас. Повод был достойный. Согрелись мы основательно и, кажется, заснули по дороге к койкам, а Борька - по дороге к своему номеру, которого у него, кстати, так и не оказалось. Борька нам очень понравился. Мы ему, похожему, тоже. Он со своим "Аквариумом", который тогда представлял собой милый акустический квартет, явился в Таллинн без всяких приглашений и чуть ли не пешком. И им разрешили выступать! По законам московской жизни это было невозможно себе представить. Собравшиеся с разных концов страны на фестиваль хиппи рассказывали просто уже фантастические вещи - их встречали на вокзале (руководствуясь их внешним видом), предлагали комнаты в общежитии и по окончании фестиваля - обратные билеты, и все бесплатно! (Естественно, откуда у хиппи деньги?) Это

вместо того, чтобы волочь в кутузку, стричь и выяснять, откуда и зачем. Мы чувствовали, что попали в другую страну.

- 2

Грянул фестиваль. Эстонские группы оказались действительно сильными, но какими-то замороженными, что-ли. В их музыке было все, кроме того, что заставляет тебя притопывать ногой в такт, помимо собственной воли. Москву представляли мы, блюзово-рок-н-рольное "Удачное приобретение", Стасик Намин с группой из двух человек (Слизунов и Никольский). Из Ленинграда приехали "Орнамент", тот же "Аквариум", кто-то еще, из Горького - группа "Время". Остальные команды - из Прибалтики. Концерты шли днем и вечером - по три-четыре группы в каждом. Мы выступали вечером первого дня. Не знаю уж, в каком приподнятом состоянии духа мы пребывали, но зал аплодировал минут десять - было ясно, что это победа (к полной нашей неожиданности, кстати: у нас ведь до этого не было возможности сравнить себя с другими командами, кроме московских). Не знаю, что тут сработало - то ли наши песни, сделанные из очень простой музыки, то ли слова, то ли странное сочетание бит-группы со скрипкой, а может, наш завод, у прибалтов отсутствовавший. Наверное, все вместе. На завтра днем состоялось второе наше выступление. Оно прошло похуже из-за нашего состояния - очень уж нас накануне все поздравляли, но это уже было не важно. Сережа Кавагое, постоянно ратовавший за профессиональное поведение на сцене, договорился с нами, что в случае какой-либо технической поломки во время выступления следует не ковыряться в проводах, стоя спиной к залу, а быстро и с достоинством покинуть сцену, пока все не починят. И когда на второй песне что-то у меня отключилось (дело обычное), Сережа бросил палки и с такой скоростью усвистел за кулисы,

что зал испуганно притих: все решили, что это какая-то творческая наша задумка.

Уезжали мы из Таллинна, пьяные от счастья и коктейля "Мюнди", увозя с собой бесценную бумагу, подписанную секретарем ЦК ЛКСМ (ну и что, что Эстонии?), где говорилось, что мы не враги народа, а, напротив, художественно и идеологически выдержанные и заняли первое место на советском молодежном фестивале. Эта бумага виделась нам спасательным кругом, на котором еще долго могла продержаться наша безопасность в московских джунглях. Еще мы увозили обещание Борьки пригласить нас сыграть в Питер: по его рассказам, там шла подпольная, но совершенно роскошная рок-н-ролльная жизнь.

В Питере мы оказались очень скоро. Нас встретили, как героев. Это было приятно. Дружное хипповое, какое-то немосковское подполье, очаровательный, едва уловимый ленинградский акцент, кофе в "Сайгоне" все было великолепно. По первому ощущению питерская тусовка чувствовала себя куда свободнее московской и весьма этим гордилась. К вечеру, уже несколько набравшиеся, мы большой волосатой толпой двинулись на сейшн в ДК Крупской. Он оказался где-то почти на окраине (как мне показалось), но - фантастика! - милиции не было! Первой играла команда с названием "Зеркало" - и никаких особых впечатлений ни у нас, ни у зрителей не оставила. Мы приободрились - народ уже знал, что мы должны играть, и посматривал на нас с плохо скрываемым восторгом. Представляю, как уже успела расписать наши достоинства хипповая молва. Вслед за "Зеркалом" вышел "Аквариум". Играли они чистую акустику и, следовательно, прямой конкуренции составить нам тоже не могли. Их принимали тепло, но без остервенения. Потом на сцене появились "Мифы". Их я уже видел пару лет назад в

Москве - не знаю, каким ветром их туда занесло. Уже тогда в них все было шикарно: мощный, какой-то фирменный вокал Юры Ильченко, издевательские тексты, тяжелые аранжировки, волосы до плеч и драные джинсы - все чуть-чуть свободнее, чем в Москве. А теперь они вышли на сцену с духовой секцией - трубой и саксофоном! Дудки победно сверкали. С первыми аккордами я понял, что нам конец - если два года назад они меня

- 3

поразили, то я не знаю слов, чтобы описать теперешнюю реакцию. Я был растоптан. Помимо всего прочего, у "Мифов" напрочь отсутствовала сценическая зажатая старательность, столь характерная для московских групп и, наверное, для нас самих. На сцене стояли абсолютно отвязанные, жизнерадостные нахалы, явно торчавшие от собственной музыки. Пианист Юра Степанов время от времени оставлял инструмент и пускался вприсядку. В зале творилось невообразимое. Маргулис уже задвинул свою бас-гитару ногами куда-то под кресла и заявил, что если после "Мифов" я хочу видеть его на сцене, то для начала придется его убить. Поздно! "Мифы" доиграли свой последний хит, пригласили на сцену "Машину времени", и их трубачи грянули какой-то бравурный марш. Не выйти было нельзя. Не помню, как мы с Сережей выволокли Маргулиса за кулисы. Занавес закрыли на пять минут ровно на столько, чтобы попытаться настроить гитары, воткнуть их в аппарат и выяснить, какая песня первая. Тряпку раздернули, я зажмурился, и мы грохнули "Битву с дураками". Я выжимал из себя и из гитары все. Я не раскрыл глаз до конца песни - мне было страшно. Последний аккорд потонул в таком реве, что глаза открылись сами собой. Впоследствии я никогда не видел, чтобы пятьсот человек могли издать звук такой силы. Страх улетучился мгновенно. Были сыграны "ты

или я", "Флаг над замком", "Черно-белый цвет", и я почувствовал, что надо уходить, потому что у человеческих эмоций есть предел и следующую песню зал уже с таким накалом встретить не сможет чисто физически.

Потом мы шли разгоряченной толпой во всю ширину какой-то темной улицы. Кажется, от нас валил пар. Мы двигались в сторону Московского вокзала, особенно, впрочем, не заботясь о направлении. Откуда-то возникли бутылка водки и крохотная хрустальная рюмочка, которую всякий раз перед тостом торжественно ставили на асфальт посреди улицы и наполняли. Местные менеджеры бежали за нами, на ходу выкрикивая предложения, все это уже было не важно. Это вот ночное ленинградское счастье живо во мне до сих пор. А в Питер мы вернулись скоро. Ровно через неделю.

И началась наша гастрольная жизнь. Конечно, гастрольями это в сегодняшнем смысле назвать никак невозможно. Гастроли - это что-то такое длительное, профессиональное. Нам же звонили уже знакомые организаторы из Питера либо друзья-музыканты, мы покупали билеты, грузили свой аппарат в купе "Стрелы" и отправлялись в колыбель революции. Когда я сейчас пытаюсь представить себе, как это мы перли все наши ящики по платформе, затаскивали их в вагон, невзирая на вопли проводницы, умещались между ними и на них в купе, утром выволакивали все это на питерский перрон, везли к какому-нибудь безумному нашему фану на квартиру, задыхаясь, поднимали на пятый этаж - ленинградские подъезды не баловали нас лифтами, - а через пару часов уже спускали наши драгоценности вниз, чтобы закидать в пойманный левым путем автобус и разгрузить все это уже в рискнувшем принять нас Доме культуры, науки или техники, настроить звук, потом, выжатые концертом, пьяные от успеха и

общения с питерской тусовкой, опять все развинтить, собрать, довезти на чем придется до вокзала, покидать в поезд, невзирая на вопли проводницы, и ничего не потерять по дороге - я не понимаю, сколько сил в нас бурлило и какой магический завод нами двигал. Понятие "техперсонал" тогда отсутствовало начисто, и рассчитывать приходилось только на фанов, мечтающих проскочить на заветный сейшн. По окончании они, как правило, исчезали либо находились в состоянии, не позволявшем нам допускать их до аппарата. Пожалуй, на тот период достойных конкурентов, кроме "Мифов", в Питере у нас не было. Бешеный прием ленинградцев грел нас, как доброе вино. Были и другие причины наших миграций - в родной Москве мы уже задохнулись в кругу знакомых сейшеновых лиц, а новые не могли нас

- 4

увидеть, хоть застрелись, - из-за проклятой конспиративной системы распространения билетов. Круг устроителей сузился до нескольких человек, у которых обломы случались не каждый раз, а, скажем, через два на третий. А ехать по приглашению какого-то новичка, зная, что потом придется долго и нудно давать показания, да еще тащиться ради этой радости, скажем, в Электросталь крайне не хотелось. Питер стал для нас спасением, правда, тоже ненадолго.

С первых же приездов я слышал постоянно имя какого-то легендарного Коли Васина. Произносилось оно с особенным уважением и чуть ли не с трепетом. На одном из сейшенов мне сообщили, что Васин будет. Я, между прочим, волновался. После нескольких песен на меня налетел, смял и поднял в воздух здоровенный малый в бороде и хипповых атрибутах. Между поцелуями он оценивал нашу игру словами, которые я здесь при всем желании и торжестве гласности привести не могу. По глазам окруживших меня



ленинградских друзей я почувствовал, что их "отпустило". Потом я узнал, что Коля Васин, как правило, в оценках строг, а с мнением его очень считались. Этим же вечером мы оказались в его доме. Мы долго тряслись на трамвае, друзья-музыканты, загадочно улыбаясь, поглядывали на нас, и я понимал, что нас ожидает какой-то шок. Я даже предвидел, что связано это будет с битлами. Но такого я, конечно, не ожидал. Какой там дом! Какой музей! Мы вдруг очутились внутри волшебной шкатулки, заполненной битлами. Не было ни квадратного миллиметра без битлов. Пространство уходило в полумрак и хотя, как я понимаю сейчас, было небольшим - казалось безбрежным и многомерным. Битлы смотрели с фотографий, постеров, картин самого различного художественного достоинства, со значков на портьерах, с самих портьер, с книжных полок и полок для пластинок и кассет. В углу даже располагалось чучело Ринго Старра в натуральную величину, показывающего всем "козу", то есть "лав". И все это горело безумными красками и дышало истинным хипповым духом. Может быть, на свете есть несколько человек, не уступающих Коле Васину в информированности о жизни "Битлз". Какойнибудь Хантер Дэвис. Не знаю. Но всезнание Коли меня поражало. Поражало, как он все это собрал по крохам, живя в Ленинграде, и на какой любви все это было замешено. Его можно было спросить, что, скажем, делал Джон 11 августа 1964 года часов в восемь вечера, и в ответ шел немедленный рассказ, причем, произнося имена битлов, Коля заикался от нежности. Его хата надолго стала моим любимым местом в Питере. Я мог оставаться там на несколько дней, и когда Коля уходил на работу, брал один из его альбомов и читал до вечера. Альбомы Коля делал сам. Их невозможно описать - их следует видеть. Это были неподъемные фолианты, где содержалась жизнь битлов в статьях,

текстах песен, фотографиях, его же, Колиных, картинах и картинках, а также комментариях. Это великий труд, пропитанный такой неподдельной любовью, что от осевшей в альбомах Колиной энергетики они чуть не светились в темноте.

Коля был максималист. Он или любил до удушения в объятиях, или не любил совсем, отводил глаза, не мог физически сказать что-то хорошее, если ему не нравилось. Да что я все "был" да "был". Жив Коля Васин, слава Богу, и давно переехал с дикой Ржевки в центр Питера и перевез свой музей, только вот смерть Джона Леннона сильно его согнула, и, может быть, от этого оставил он себя во всем том, что было до восьмидесятого года. Может, так оно и надо. Я его вижу иногда и очень его люблю.

Четыре раза в год - в дни рождения Джона, Джорджа, Пола и Ринго Коля устраивал грандиозные, чисто питерские сейшена в их честь. Энергия его не знала границ. Художники рисовали плакаты и картины, музыканты разучивали песни именинника специально к этому дню. И все это

- 5

происходило без участия каких-либо денег, что приводило в изумление и неверие бдительных ленинградских ментов. Сейшена проходили с огромным количеством групп, в конце они обычно играли что-то вместе - дух праздника приближался к религиозному. Даже портвейн в туалете пился одухотворенно, только за битлов, и ни в какое безобразие это не переходило. Я пару раз побывал на этих днях рождения и унес грустное чувство, что питерская музыкальная тусовка как-то дружней московской (хотя и в столице все мы были друзья). Я не мог представить себе такого по-детски чистого, альтруистического всеобщего собрания людей, такого общего просветления в столице. А может быть, у Москвы просто не было своего Коли Васина.

Мы не оставались в долгу и по мере сил вытаскивали питерские команды в Москву. В качестве спонсора использовался Архитектурный институт, где я как-никак все еще учился. Таким образом в Москве были показаны "Аквариум" и "Мифы". Московско-питерская музыкальная дружба доросла до того, что по окончании одного из наших наездов на Ленинград солист "Мифов" Юрка Ильченко отказался расставаться и вместе с нами укатил в Москву. Причем решение было принято прямо на вокзале минут за пять до отхода поезда, а так как все имущество Ильченко состояло из гитары, которую он притащил с собой, никаких проблем не возникло. Юрка вообще был (да, наверно, и остался) необыкновенно легким человеком. Я, пожалуй, легче и не встречал. Он был настоящий человек рок-н-ролла. Деньги у него тогда в принципе не водились, а если случайно и появлялись, то расставался он с ними с радостью, граничащей с отвращением. Места проживания он менял так часто, что домом его ни одно из них назвать было нельзя. От его паспорта, сложенного обычно вчетверо, милиционеры падали в обморок. Хипповое начало было у него не элементом моды, как у девяноста процентов тусовки, а росло где-то внутри, как небольшое дерево. Комплексами он не страдал вообще, и это как раз затрудняло длительное общение с ним людей, комплексы имеющих, то есть всего остального человечества. Он подтверждал собой ту истину, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Брал в руки карандаш - и оказывалось, что он прекрасно рисует. Пробовал шить - и через неделю уже делал это лучше и быстрее всех остальных, и половина Питера ходила в построенных им клешах. Делал гитары, на которых сам и играл. Не было в нем только стержня, без которого невозможно ни одно дело довести до конца. Я это очень чувствовал, когда он писал какую-нибудь новую песню. После того, как он находил что-то

для себя главное - удачное четверостишие, музыкальный ход - в общем, феньку, - вся остальная работа по доделке теряла для него всякий интерес, и я безуспешно пытался заставить его что-то подчистить. Хотя песни он писал отличные, на гитаре играл именно так, как надо - не поражая скоростью, но очень вкусно и с удивительным ощущением стиля - то, что у большинства наших виртуозов отсутствует. Про его манеру петь я уже не говорю. Вообще петь по-русски умели тогда единицы, не корежа русский язык английским прононсом (меня от этого могло стошнить прямо на сейшене). У нас и сейчас от этого далеко не все отделались, а уж тогда это, видимо, казалось единственным способом сблизить свои беспомощные поэтические опыты с как бы проверенным американским роком. Юрка пел удивительно - абсолютно по-русски, легко и свободно, и это был настоящий рок. В жизни он слегка заикался и говорил голосом, отнюдь не наталкивающим на мысль, что этот парень может петь. Думаю, что был он одним из лучших вокалистов нашего рока вообще - по тем временам, во всяком случае.

Мне трудно сейчас оценить музыку, которую мы играли вместе с Ильченко. Коля Васин считает, например, что это был самый сильный состав

- 6

"Машины". Мы с Юркой совместно ничего не написали - просто играли и его, и мои песни и помогали друг другу доводить их до ума. Наверно, был хороший контраст - при массе общего мы с ним все-таки были очень разные. И в музыке тоже. Но нам нравились песни друг друга, и из этого, видимо, что-то выходило.

Продлился наш альянс около полугода. Жил Юрка все это время у меня на кухне, и совместное наше проживание лишний раз доказало мне, что все на свете относительно, и не такой уж я хиппи, как мне самому

казалось. Ничего в жизни не обременяло Юрку, кроме музыки, и он мирно спал, когда я, опухший и злой, бежал на работу в постылый "Гипроттеатр". Где-то к обеду я ломался и засыпал. На этот случай в столе под чертежами была проделана дырочка, куда вставлялся грифелем твердый карандаш, после чего на него можно было опереть кисть правой руки.левой рукой подпиралась голова, и образ архитектора, задумавшегося над проектом, был налицо. В этой трудной позе я чутко спал до семнадцати тридцати, после чего летел в институт засветиться, узнать, когда и какие зачеты, и, наконец, к девятнадцати ноль-ноль оказывался на репетиции, где меня уже ждал свеженький, только что проснувшийся и заботливо накормленный моими родителями Ильченко. Беспомощная зависть смешивалась во мне с праведным гневом труженика. Конечно, Юрка ни в чем не был виноват. Скорее всего мы просто за полгода сыграли вместе все, что нам хотелось. Но сейчас кажется мне, что это было долго и хорошо, а летом мы еще устроили с Борзовым путешествие в дику Карелию, а потом рванули с Ильченко в Гурзуф - любимое мое место тогда. Золотое было время! И Гурзуф был еще Гурзуф, и в "Чайнике" рядом с причалом продавали волшебный ялтинский портвейн, от которого делаешься только лучше и добрее, и море было хрустальной прозрачности, и не существовало еще слова "СПИД", и городишко Чернобыль ничем не выделялся на карте страны.

Расставание с Ильченко случилось не вдруг. Мы чувствовали, что к этому как-то шло. И все же, когда он сказал, что истосковался по Питеру и не в силах более бороться с зовом родной земли, стало грустно. Расстались мы друзьями, но "Машина" наша за эти полгода приобрела такое плотное звучание, что возврат в трио был уже невозможен. Мы как-то вяло поиграли

втроем, съездили в Таллинн во второй раз - теперь уже фестиваль проходил не в зале ТПИ, а во Дворце спорта "Калев". Мы никогда еще не играли на такой большой аудитории. Выступили мы хуже, чем в первый раз, нас уже ждали, как героев, а я накануне отъезда простудился так, что ни петь, ни говорить, ни шептать не мог. Меня шатало от аспирина, меда, коньяка, и прошли мы во многом благодаря прошлогодней славе. "Високосное лето", приехавшее в Таллинн впервые, нас явно затмило. Было обидно, но не очень: все-таки наши, московские! Вернувшись домой, мы поняли, что дудочное звучание "Мифов" не дает нам покоя.

И мы кинулись искать духовую секцию. Меня лично привлекал совсем не джаз-рок, входивший тогда в моду. Мы хорошо относились и к "Чикаго", и к "Blood, sweat and tears", и к Леше Козлову, но шли не за ними. В сверкающих дудках было что-то победоносное и необъяснимо жизнеутверждающее. Мне наша духовая секция виделась почему-то в парадных никелевых пожарных касках. Жаль, что за год ее существования я этих касок так и не смог достать.

Надо сказать, что у нас практически не было знакомых в духовом мире, который не очень-то пересекался с рок-н-рольным. За помощью мы обратились к нашему другу Саше Айзенштадту, человеку из джаз-роковой прослойки. Очень скоро он прислал к нам саксофониста Женю Легусова, эдакого смешного блондинистого парня, который неожиданно оказался очень

- 7

деловым, уяснил задачу, нами поставленную, и обещал духовиков в ближайшие дни набрать. Так как у нас не было опыта в аранжировках духовых, мы в порядке испытания дали ему песню "Посвящение хорошему знакомому" с условием вписать туда дудки. Буквально дня через три Женя позвонил и доложил, что

задание выполнено. Через час мы собрались на нашей базе в жэке номер пять. Женя и два незнакомых малых вынимали из чехлов сверкающие золотом инструменты, что-то там подвинчивали, вставляли, поплевывали - так готовят оружие к бою. У меня по спине шли мурашки от ожидания. Потом появились листочки с нотами. Это нас потрясло. Мы за все время существования "Машины" нотами как-то не пользовались и вообще считали нотную запись продажной девкой официальной эстрады. Мы грянули "Посвящение", и я от восторга не мог петь. Пришлось раза три или четыре начинать сначала. Это было потрясающее чувство, когда слышишь свою песню в совершенно новом звучании и становится ясно, чего же ей не хватало все это время. Как будто за нашими спинами появилась артиллерия, поддерживающая нашу атаку мощными медными залпами. Ничто не заменит звук живых дудок!

Третий духовик - тромбонист - через несколько дней куда-то исчез, но это было не важно, вполне хватало саксофона и трубы. На трубе играл Сережа Велицкий - человек с ангельским взором и мягким южным говором. Родом он был из Керчи, имел прекрасный классический звук. В команду нашу он в отличии от Легусова как-то сразу не вписался. Я часто раздумывал над этим явлением - такое происходило у нас частенько с новыми людьми. И никогда не случалось, чтобы, скажем, сначала не вписался, а потом ничего, подошел. Это было ясно с самого начала, и в конце концов человек всегда уходил. Не могу объяснить, в чем тут дело. И уж никак не в том смысле, что, мол, мы хорошие, а он плохой. Какие-то очень тонкие вещи из области юмора, взаимопонимания, поведения, вкуса, не знаю чего еще. Нам никогда не приходилось объяснять это друг другу - но "наш - не наш" было ясно всем троим сразу (это при том, что Кава, Гуля и я всегда были очень разными людьми). И это вот "наш - не наш" бывало порой важнее

всех музыкальных талантов новобранца. Но на этот раз оказалось не до того слишком захватил сам звук, новые возможности. Мы с Кавой кинулись сочинять аранжировки для духовых. Это нас настолько увлекло, что техника записи этих аранжировок на нотную бумагу далась нам за несколько дней. Меня, правда, поразило, что для духовых существуют различные ключи записи, и для трубы, например, следовало всю партию записывать на тон ниже. Жуткая глупость!

На носу маячило лето, и нас тянуло играть на юг. Это уже было как наркотик - команда, однажды съездившая поиграть на юг, оказывалась навсегда отравленной этим сладким ядом и готова была идти на любые, самые унижительные условия, лишь бы оказаться там вновь. Условия, впрочем, были практически везде одинаковы - "будка и корыто". Правда, одно дело - "Буревестник" с роскошными коттеджами, чешским пивом, столовой ресторанного типа и всем женским светом страны, и совсем другое - палаточный лагерь какого-нибудь тамбовского института связи с перловой кашей по утрам и обязательным обходом в 23.00. Но даже это было не важно. Бесплатная счастливая жизнь, возможность играть и репетировать, не прячась в подполье, и высокий авторитет в глазах женской части отдыхающих - за это можно было пойти на все. И когда в начале июня мне позвонил какой-то массовик затейник и сообщил, что нас ждут в такой-то точке Кавказа в таком-то пансионате с такого-то числа, - я лично принялся считать дни до отъезда. Дальше случилось непредвиденное - на южной станции нас никто не встретил. Чувствуя неладное, но не теряя надежды, мы поймали грузовик, закидали туда колонки и с большим трудом



отыскали в темноте южной ночи нужный нам пансионат, где нам хмуро сообщили, что массовик такой-то в отъезде, а оркестр для танцев у них уже есть. На чем беседа и закончилась. Ночевали мы на лавочках того же пансионата, стараясь во сне прикрывать какой-либо частью тела часть аппарата, стоявшего тут же. Утром на оставшиеся деньги были куплены яблоки, и мы с Легусовым двинулись вдоль побережья в поисках работы. Баз отдыха и пансионатов вокруг располагалось хоть отбавляй. К сожалению, все они уже имели своих музыкантов. Прошагав целый день и вдоволь наунижавшись, мы набрали на палаточный лагерь в поселку Джубга. Не помню, какому ведомству он принадлежал. Кажется, МВД. Во всяком случае, начальник лагеря в недавнем прошлом был начальником совсем другого лагеря, о чем нам сразу сообщили. Но музыкантов у них не было. К счастью, наше название, уже вызывавшее трепет в хиппово-студенческой среде, оставалось еще совершенно неизвестным административной прослойке черноморского побережья, и нас взяли на неопределенный испытательный срок. Очень скоро завкультсектором лагеря (он же баянист-затейник) почувствовал, что совершена крупная идеологическая ошибка. "Опять одни шейки! - в ужасе кричал он после очередных танцев. - Слишком много шейков!" Мы попробовали перейти на блюзы, но сметливый работник культуры справедливо заметил, что блюз - тот же шейк, только медленный. По побережью шныряли разного рода комиссии - проверить идеологически-художественный уровень отдыха трудящихся, а заодно выпить и отдохнуть "на шару", и баянист понимал, как лицо ответственное, что его южная жизнь висит на волоске. Честно говоря, мы сами были не в восторге от Джубги - место оказалось глухое, наша публика отсутствовала начисто, а мрачный престарелый

туристский контингент базы никак не врубался в нашу музыку. Не помню уже, кто посоветовал нам, не дожидаясь взрыва, сложить свои пожитки и двинуть в Ново-Михайловку на турбазу "Приморье". После скучной плоской Джубги место показалось райским. Дорога, идущая вдоль моря, упиралась в ворота базы и заканчивалась. Дальше шли дикие скалы. С другой стороны база была ограничена лагерем Ленинградского политеха, наполненным милыми девушками. Сама база стояла на крутом склоне горы, утопая в зелени. Между деревянными домиками бродили куры, чудом удерживаясь на склоне. Место было что надо. Старшим инструктором оказался могучий человек по фамилии Черкасов - любитель походов, Высоцкого, туристской песни. Не знаю, чем мы ему понравились. Знаю, что он принял на себя несколько атак всяких идеологических комиссий, но нас отстоял. На счастье, в ларьке "Союзпечати", стоявшем прямо на территории базы, продавалась наша пресловутая пластиночка с трио Линник, то есть "Зодиак", подтверждавшая наше, так сказать, официальное существование.

Южная жизнь наладилась. Единственное, что слегка огорчало, - это постоянное чувство голода. Кормили на базе скромно, к тому же наш жизненный распорядок шел в полный разрез с установленным расписанием. Спать мы ложились примерно за час до завтрака и, естественно, попасть на него никак не могли. Так что обед у нас переходил в завтрак, ужин в обед, а вечером мы уже кусали локти. У ворот базы торговали люля-кебабами. Запах бесил нас, но денег не было. Расхаживающие по территории куры, толстые, как свиньи, не давали нам покоя. Принадлежали они, видимо, обслуживающему персоналу базы, и было их много, из чего возникло предположение, что пропажу одной из них никто не заметит. Духовая секция разработала несколько планов покушений. Хитрые

куры, спокойно гулявшие под ногами, проявляли небывалую прыть при попытке просто поймать их руками. Первым делом была испробована мышеловка. Она щедро усыпалась крошками хлеба и заряжалась. При этом делалось

- 9

предположение, что если курицу и не прихлопнет, то, во всяком случае, неожиданный удар по голове лишит ее на мгновение бдительности и тем самым позволит ее пленить. Терпеливый Легусов полдня просидел в кустах, но догадливые птицы склевывали все, кроме последнего кусочка непосредственно на мышеловке. Было предложено использовать мое ружье для подводной охоты, но я не мог позволить осквернить честное оружие подобным образом. Наконец однажды путем сложных уговоров Легусов заманил курицу в душевую. Душевая представляла собой бетонный бункер с единственным дверным проемом - впрочем, без двери. В качестве вратаря в этот проем встал трубач Велицкий, и Легусов медленно пошел на птицу. Когда курица осознала, что попала в скверную историю, она закричала страшным голосом, вышибла худенького Велицкого из дверей на манер ядра и унеслась в южное небо. Я и сейчас вижу ее, дерзко парящую над зелеными кипарисами и лазурным морем.

Год семьдесят восьмой ознаменовался заменой в секции духовых. Вместо Сережи Велицкого в команду пришел Сережа Кузьменок, человек с могучим здоровьем, тонкой поэтической натурой и трубой граненой, как стакан. Пытались сделать запись с помощью нашего тогдашнего звукорежиссера Игорька Кленова и двух бытовых магнитофонов. Ютились мы в то время на территории красного уголка Автодормехбазы N 6 (куда только не заносило!). Запись производилась ночами, когда за окнами не ревели грузовики и никто нами не интересовался. Получилось

лучше, чем можно было ожидать, но запись эта у меня не сохранилась.

Весной случилась еще одна занимательная история. Мне позвонил Артем Троицкий, ныне известный критик и авангардист, и сообщил, что по его рекомендации мы приглашены в Свердловск на рок-фестиваль "Весна УПИ", где он пребывает в составе жюри. Окрыленные таллинскими победами, мы махнули в Свердловск. Фестиваль обещал быть грандиозным - около шестидесяти групп. Но с первых же минут мы поняли, что попали куда-то не туда. Таллинном тут не пахло. Шел типичный комсомольский смотр патриотических ВИА. Исключением была группа Пантыкина. Они играли совершенно заумную музыку, но без слов, и это их спасало. Все остальное находилось на идеологическом и музыкальном уровне "Гренады". Хитрый Троицкий подложил бомбу в виде нас под комсомольское мероприятие. В нас самих проснулся нездоровый азарт ударить московским роком по всей этой клюкве. Не знаю уж, в каких лживых розовых красках расписал Артем "Машину" организаторам, но, когда они увидели наши концертные костюмы, они заметались - все остальные выходили на сцену либо при комсомольских значках, либо в военной форме, либо и в том, и в другом. Наше первое выступление должно было состояться вечером. По мере приближения назначенного часа росли паника комсомольцев и ажиотаж зрителей. К началу зал был заполнен минимум дважды - люди стояли у стен, толпились в проходах, сидели на шеях у тех, кто стоял у стен и в проходах. К тому же все музыканты шестидесяти групп-участников потребовали мест в зале, а когда им попытались объяснить, что мест нет, они заявили, что приехали сюда не комсомольцев тешить, а посмотреть "Машину", и если их не пустят, они сейчас запросто двинут домой. Согласитесь, это было приятно. Музыкантов запустили в

оркестровую яму, в боковые карманы сцены и за задник. Концерт задержали почти на два часа. Последней запрещающей инстанцией оказался обезумевший пожарник, который, наверно, никогда в вверенном зале не видел такой пожароопасной обстановки. Я не помню, как мы играли. Видимо, хорошо.

Вечером состоялся банкет для участников - последнее место, куда нас пустили. Дальше фестиваль уже продолжался без нас. Члены жюри хлопали нас по плечу и улыбались, музыканты жали руки, комсомольцы обходили

- 10

стороной. В конце вечера они, отводя глаза, сообщили, что лучше бы нам уехать с их праздника. Возражений, собственно, не возникало - мы уже выступили и доказали, что хотели. Правда, трусливые и мстительные комсомольцы не выдали нам денег на обратную дорогу, и не помню уж, каким чудом мы их наодалживали.

В Москве до меня дошли слухи, что "Високосное лето" нашло какую-то студию и пишет там альбом! Это было невероятно. Вскоре детали прояснились. Кутиков, после лопнувшей тульской затеи вновь оказавшийся в "Високосном лете", устроился на работу в учебную речевую студию ГИТИСа. Устроился не без задней мысли задействовать данную студию по назначению. Работал там также веселый и легкий человек Олег Николаев, спокойно позволявший в свободное от занятий время всякие безобразия. Оборудование студии было бедным - два СТМа, тесловский пультак, и все. Зато была настоящая студия со звукопоглощающими стенами и режиссерской кабиной за двойным стеклом. Мы о таком не могли и мечтать. Естественно, я попросил Кутикова оказать содействие старым друзьям. Кутиков, не прекращавший питать к нам симпатии, пообещал все уладить с Олегом и через пару дней

сказал, что можно начинать. Он же вызвался быть звукорежиссером.

Я страшно волновался весь день. Первым делом я отпросился на работе, на сколько это было возможно, пообещав, что потом, в какой-нибудь трудный для "Гипротейтера" момент, все отработаю - за мной не заржавеет. Получилась целая неделя. Писать предстояло ночами. То есть с утра в студии шли всякие занятия, часа в четыре они заканчивались, и до вечера студия превращалась в эдакий театральный клуб. Там еще была третья комната, большая, с длинным столом, покрытым зеленым сукном. И вот в ней собирались выпускники, какие-то молодые непризнанные и признанные режиссеры, сценаристы. Они спорили, читали сценарии, пили дешевое арбатское вино. Я слушал их раскрыв рот. Они все казались мне такими гениальными! Это уже было неофициальное время, но нам начинать было нельзя, так как на звуки музыки мог заскочить какой-нибудь засидевшийся в институте педагог или, скажем пожарник. К тому же мне очень не хотелось останавливать беседу об искусстве за зеленым столом. Да я, в общем, был и не вправе. И только после десяти, когда здание института вымирало, мы распаковывали аппарат и начинали. Первый день, то есть ночь, ушла на настройку. На завтра работа пошла. У нас не было определенной концепции альбома (мы в этом отстали от ленинградцев - они сразу начинали мыслить альбомами). А мы просто хотели записать по возможности все, что у нас есть. Ночи через три студия представляла собой удивительное зрелище. Хипповая Москва прознала, что "Машина" пишется в ГИТИСе, и в комнате с зеленым столом собиралась тусовка. В принципе это были наши друзья и знакомые, и, в общем, они нам почти не мешали. Они сидели довольно чинно и тихо, интеллигентно выпивали что у кого было, гордые своей приобщенностью к сокровенному акту искусства,

творившемуся за дверью. Тут же на них можно было проверить качество свежей записи. А если вдруг они начинали шуметь. Кутиков их легко выгонял. Мы работали как звери. Может быть, с тех самых пор мы на студии постоянно работаем быстро, и это, кстати, не всегда идет на пользу конечному результату. Но тогда у нас были все основания спешить - никто не знал, сколько еще ночей у нас впереди, а успеть хотелось как можно больше. Помню странное ощущение, когда мы, измученные, опухшие и небритые выходили на Арбатскую площадь часов в восемь утра (примерно в это время приходилось заканчивать) и я с удивлением видел свежих, выспавшихся людей, спешащих на работу, и всякий раз не мог отделаться от мысли, что у них уже сегодня день, а у нас еще вчера, так как мы не ложились и отстали на сутки.

- 11

Запись получилась отличная. Оригинал ее утерян, и копия, которая осталась у меня, не лучшая. Но сейчас, слушая ее, я удивляюсь, как мы добились такого звука при такой убогой аппаратуре. Технология была проста. Сначала на первой СТМ писалась болванка, то есть, скажем, барабаны, бас и гитара. Если все получилось, то эта запись переписывалась на второй СТМ с одновременным наложением дудок и еще одной гитары. Если опять все получилось, то все переписывалось обратно на первый магнитофон с наложением голосов. Какое-либо микширование исключалось, вернее, оно происходило в момент записи, и если кто-то слажал, то приходилось начинать заново. Все приборы обработки состояли из сиротского пленочного ревербератора "swissecho", купленного случайно по газетному объявлению. Кутикову, конечно, за работу в таких условиях следовало тут же в студии поставить памятник. Помню, как мы записывали посвящение Стиви Уандеру ("Твой волшебный мир"), и я

как-то очень удачно и проникновенно спел и возрадовался, потому что тональности тогда выбирал запредельные и пел на грани возможного, а помощник по записи Наиль нажал не на ту кнопку и стер мое гениальное исполнение, и я потом корячился всю ночь, бился об стену, гасил в студии свет для состояния, выпил почти бутылку рома для связок, чуть не сорвал голос, но так хорошо уже не получилось.

Мы не предполагали, что эта запись принесет нам такую известность. Мы даже не думали, что она будет кому-то нужна, кроме нас самих, - ну, может быть, самым близким друзьям. Но деловые ребята в ларьках звукозаписи настригли из нее альбомов по своему усмотрению, и машина завертелась. Я до сих пор не знаю, как эта пленка у них очутилась. Может быть, практичный Олег подсуетился. Лично я помню одного мальчика откуда-то из Сибири. Он приехал специально за этой записью, долго искал нашу студию (как он вообще узнал?). Мы никогда не были против распространения наших песен, а то, что за это можно получать деньги, нам вообще не приходило в голову. К тому же у мальчика был совершенно немеркантильный вид. Но я не могу себе представить, чтобы из одних рук песни разлетелись в таком количестве. Через месяц эта запись игралась уже везде.

А потом опять настало лето, и нас вновь потянуло на юг. На этот раз предложение поступило от Московского авиационного института, который имел лагерь в Алуште. Не помню, по какой причине Кава не смог поехать с нами, и я позвонил Алику Сикорскому. Образ его в моей душе и до сих пор занимает одно из самых светлых мест - не дай он нам сыграть тогда, в шестьдесят девятом, что бы с нами было? Алик слегка покочевряжился, мотивируя тем, что уже сто лет не играл на барабанах, впрочем, упорствовал недолго.



В Алуште нам не понравилось. Лагерь оказался палаточным, стоял он на совершенно голом глиняном откосе над мутноватым морем. Контингент авиационных студентов при почти полном отсутствии студенток тоже особой радости не обещал. И когда в лагере появился деловой человек из Гурзуфа и предложил переехать к нему на танцплощадку, мы, не раздумывая, согласились. К тому же у нас нарабаталась роскошная танцевальная программа - вся классика блюза и рок-н-ролла. Алик замечательно пел и барабанил, сейчас уже так не поют и не барабанят - это уходит, как время. А в Гурзуфе к нам еще присоединился истосковавшийся по нас Кава.

Поселили нас в Гурзуфе совершенно замечательно. Бывавшие там, конечно, знают узенькую древнюю лестницу, спускающуюся от центральной площади, где автобусы, к морю. В самом ее узком и древнем месте слева оказывается бывший дом Коровина, а ныне Дом творчества художников, а справа - двухэтажное здание, на втором этаже которого в те времена был

- 12

расположен ресторан, а на первый этаж вела загадочная дверка, выходящая прямо на вышеуказанную лестницу. Сколько я помню, дверка эта всегда была заперта. Так вот, за ней обнаружился самый настоящий клуб с фойе, залом и даже каменным Лениным на сцене. Клуб занимал весь первый этаж и не функционировал, видимо, никогда. Ловкий человек, пригласивший нас, оказался директором этого самого клуба. Нам был вручен ключ от заветной дверцы. Когда эйфория от возможности круглосуточно владеть самым центральным в Гурзуфе зданием прошла, мы робко осведомились, на чем, собственно, спать. Директор задумался, и к вечеру на грузовике подвезли полосатые солдатские матрасы - штук тридцать. Это было все. Матрасы, видимо, списали в казарме по истечении

двадцатипятилетнего срока годности. Это был настоящий рок-н-ролл.

Танцплощадка наша находилась (и находится) в другом конце городка, возле "Спутника". Аппарат убирать было некуда, посему один из нас еженощно оставался спать на сцене под южным небом во избежание кражи. Обещались нам за работу деньги в размере шестидесяти процентов сбора. Мы было возрадовались, но зря. Ловкие ребята на контроле забирали у входящих билеты и тут же продавали их вновь, поэтому танцплощадка была полна, а по количеству проданных билетов нам едва выходило по червонцу на рыло. Впрочем, мы не голодали. Приличная уже известность группы, древний родной Гурзуф, друзья и подруги из Москвы, Киева, Питера, дикие ночи с ними на сцене клуба под бесстрастным монументом в темноте - свет нам включать не рекомендовали, - утреннее пиво в тени кустов туи под шум моря и восхитительную вяленую ставридку - это была наша последняя настоящая южная поездка. Мы и потом ездили на юг, играли там (это уже называлось - гастролировали), но вот этот святой бесшабашный хиппово-рок-н-ролльный дух - он остался там, в Гурзуфе семьдесят восьмого.

Я не поеду больше в Гурзуф. Нет больше того Гурзуфа, и постоянное сопоставление картин, бережно хранимых памятью, с реальностью вызывает мучительное чувство. Кто-то безобразно расширил мою набережную, понатыкал бездарных зонтиков, как будто это какая-нибудь Ялта, и нет пива в "Стекляшке" и портвейна в "Чайнике", и дело вовсе не в пиве или портвейне, а в том, что дух - дух ушел, умер, стал другим. В "Спутнике" вместо озорных иностранных студентов живут унылые семейные комсомольцы, и пьют они теперь не в "Тарелке", а в номерах под одеялом, и с катеров, подходящих к пирсу, звучит

совсем другая музыка, и над клубом нашим соорудили какой-то немыслимый стеклянный переход из дома Коровина по второму этажу, и что там теперь, внутри, я даже боюсь подумать. И только танцплощадка наша цела и невредима, и так же точно мажет кто-то дегтем верх решетки, ее окружающей, чтобы, значит, не лазили бесплатно, маленький нелепый островок прошлого. Так нам и надо. Ничего не бывает вечно.

Осенью мы расстались с дудками. То ли мы наигрались в духовые, то ли ребята слишком любили выпить, но скорее всего нам захотелось чего-то нового. Видимо, захотелось синтезаторов. Они тогда были в большой моде, постоянно доходила информация о каких-то новых невероятных клавишных, долетали волшебные слова "Мелотрон", "Полимуг", "Клавинет Дб". Электроника вошла в "Машину" в лице Саши Воронова. Саша Воронов делал сам приличные синтезаторы и играл на одном из них. Саша не был нашим человеком. Я не могу сейчас вспомнить, почему мы его все-таки взяли. Честно говоря, после Игорька Саульского играть с любым клавишником казалось мучением. Самое тяжелое - объяснить человеку, как здесь следует сыграть (если он сам, конечно, не чувствует). Нот, как я уже говорил, мы принципиально не писали, и если вкус человека отличался от нашего, добиться от него двух нужных нот было пыткой и для нас, и для него.

- 13

Вообще в группе было нехорошо. Зрели внутренние напряжения, и все мы чувствовали, что сделать тут ничего нельзя. Может быть, мы сыграли вместе все хорошее, что могли, и нужна была какая-то ломка. Впрочем, одна из причин напряжения мне известна. Сережу очень задевало, что мое имя все чаще и чаще звучало в связи с "Машиной времени", а имена остальных соответственно реже. Сережа был сторонником святого

равенства во всем как у битлов (мы тогда не знали, что и у битлов такого равенства не было). Я тоже выступал за это самое равенство всей душой, и меня огорчало то, что происходило, но происходило это само собой, и, естественно, из-за того, что я писал песни, я же их и пел. Никаких усилий для роста своей персональной популярности я, конечно, не прилагал - скорее наоборот. Но Сережа страдал ужасно. Разумеется, эта была не единственная и, думаю, не основная причина. Что-то не клеилось у нас с музыкой. Мы теряли наше взаимопонимание - главное, на чем мы держались. Маргулис в наших спорах занимал, как правило, молчаливую нейтральную позицию, ждал, пока мы перейдем на личности, после чего заявлял, что мы оба дураки.

Думаю, он переживал за нас обоих. Мы с Сережей видели, что корабль тонет, специально вдвоем ездили на рыбалку, чтобы поговорить, все выяснить и сделать, как было раньше, и на словах все сходилось и должно было получиться, а на деле разваливалось в прах. Может быть, поэтому нам уже не важно было, наш или не наш человек Саша Воронов. Речь шла уже о нас самих.

Мы дотянули до весны семьдесят девятого. Последней каплей, переполнившей мою чашу, был концерт "Машины" в горькоме графиков на Малой Грузинской. А случилось вот что. Художники-авангардисты (как их тогда называли) наконец-то добились права учредить свой комитет и получили помещение с выставочными залами. У всех еще на памяти была "бульдозерная" выставка в Измайлове. Я постоянно тогда ошивался на их полуподвальных вернисажах то на ВДНХ, то по квартирам, очень за них болел, и виделся они мне все если не героями, то, во всяком случае людьми, делающими одно с нами дело. И когда они попросили меня о концерте "Машины" для

них всех в их же новом зале, я, конечно, согласился. Ни о какой оплате, естественно, речь не шла - у меня и язык бы не повернулся говорить со своими друзьями о каких-то деньгах. Кава встал на дыбы. Он заявил, что, если им интересно, пусть приходят к нам на концерт и там слушают, а специально для них он играть не поедет. Центрист Маргулис, накануне давший мне согласие, включил задний ход, и я оказался в одиночестве. Я не помню, как я их уговорил. Концерт состоялся, но прошел отвратительно. Если можно представить себе ситуацию, когда музыканты, играя, издеваются над зрителем, то именно так все и выглядело. Очень надеюсь, что честные художники ничего не поняли. Мне еще никогда не было так стыдно. Вдобавок оказалось, что Сережа со свойственной ему восточной логикой решил, что я собираюсь вступать в члены горкома графиков, и для этого мне нужно устроить для них концерт, и я таким образом заставляю группу работать на себя. Такой глупости я ему уже не мог простить. Это был конец. Я попросил всех ребят после концерта заехать к Мелик-Пашаеву (он уже работал с нами в это время). У него на кухне я и объявил, что из данной группы ухожу, и всех, кроме Сережи Кавагое, приглашаю следовать за собой. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все молчали. Я сказал, что немедленного решения от каждого не жду, и уехал домой. Случались у нас в команде напруги, приходили и уходили люди, но такого не было еще никогда.

- 14

Маргулис обещал думать три дня. Думал он три, четыре, пять, шесть дней, и я никак не мог его поймать. Наконец случайно я отловил его в Лужниках на каком-то концерте, и он, отводя глаза, сказал, что, пожалуй, останется с Сережей, потому что, дескать, у меня и так все будет хорошо (с чего бы это?), а Сереже нужна

поддержка. Это был тяжелый удар. Я очень рассчитывал на Женьку. Зря. Так я остался один.

Я упомянул здесь Мелик-Пашаева, который проработал с нами несколько лет и в подполье, и в Росконцерте, и даже одно время считался нашим как бы художественным руководителем. Многие удивятся, почему о нем так мало. Дело в том, что я стараюсь рассказывать про всех честно. В данном случае мне пришлось бы рассказать честно и о Мелик-Пашаеве, а мне бы этого не хотелось.

Впрочем, к музыкальной стороне дела он отношения не имел.

Не помню, сколько прошло дней. Вероятно, немного. Думаю, слух о нашем расколе уже облетел музыкальную общественность. Это бывает очень быстро. Кстати, это для меня большая загадка. Радостные слухи расходятся гораздо медленнее или не расходятся вообще. Пусть, скажем, кто-нибудь слух, что "Машину" наградили, например, медалью за спасение утопающих, и не пойдет такой слух гулять, заглохнет в самом начале пути. Зато если команда развалилась или у кого-нибудь что-нибудь сперли - такой слух летит впереди звука, и завтра все уже знают все, включая детали.

Не помню, почему шел я среди солнечного теплого дня вниз по улице Горького и столкнулся с Сашей Кутиковым. Я просто пожаловался ему на жизнь. У меня и в мыслях не было звать его с собой, так как играл он к этому времени в "Високосном лете" и дела у них вроде шли в гору, а одним из моих принципов было никогда не воровать и не переманивать людей из других команд. Кутиков, однако, имел вид человека, который все уже давно знает, все решил и организовал (хотя клянется, что идея пришла ему в голову именно в ту минуту). Оказывается, у "Високосного лета" свои сложности, вследствие коих Ситковецкий расходится с Крисом (из

чего вскоре вышли "Автограф" и "Рок-ателье"), а Кутиков под это дело забирает Ефремова и идет ко мне.

Ефремов мне очень понравился. Был он молчалив, играл плотно и правильно (он, собственно, таким и остался). Работал Ефремов в каком-то химическом институте, расположенном над Парком культуры и отдыха имени Горького, точнее, над тем его местом, где торгуют пивом. Мы приехали прямо в обеденный перерыв. Пиво оказалось кстати. Переговоры прошли непосредственно за ним и много времени не заняли. Нас стало трое. Четвертый, вообще говоря, был на примете. Звали его Петя Подгородецкий.

После нашей записи я продолжал частенько забегать в студию ГИТИСа, где работал Кутиков. Забегал под разными предлогами - мне просто там было интересно. Я мог провести там час, два, три - в зависимости от свободного времени. И все это время в соседней комнате кто-то играл на пианино. Игра производила странное впечатление. Это был некий музыкальный поток сознания - видимо, богатого, но крайне безалаберного. Куски джазовых пьес, рэгтаймов какой-то жуткой советской эстрады с сильным запахом кабака соседствовали с цитатами из классики, причем выбор был более чем произвольный. Паузы практически отсутствовали. На третий раз меня заело любопытство, и я тихонько приоткрыл дверь. За пианино сидел стройный молодой мальчик с гоголевским носом и вьющимися волосами. Он, казалось, думал о чем-то своем, а может, вообще ни о чем не думал. Руки играли сами. Петя только что вернулся из армии буквально жил в студии. Разговоры об искусстве его, в отличие от меня, не интересовали. Тут просто можно было играть с утра до ночи. Иногда просили помочь музыкой в каком-нибудь учебном спектакле. Петя с радостью соглашался. Он мог играть двадцать четыре часа в

сутки. Я еще никогда не видел такого человека. Кандидатура была подходящей.

- 15

Мы бросились репетировать. Свежая кровь - это великое дело. Я сразу почувствовал, как мы привыкли друг к другу в предыдущем составе и сколько в этом было минусов (а я-то видел только плюсы). У меня к этому моменту накопилось довольно много вещей - мы с Кавой и Гулей просто не знали, как их делать. Мы чувствовали друг друга насквозь, играли втроем, как один, и уже не могли из этого выйти. Новых идей не рождалось. А тут на меня обрушилась лавина свежих мыслей. Удивительным в этом смысле был Петя. Он мог с ходу предложить сто вариантов своей партии, и надо было только говорить ему, что годится, а что нет, потому что сам он не знал. Обычно Кутиков, как всегда, переполненный мелодиями, но плохо знавший расположение клавиш, напевал Пете на ушко что-то такое, и это немедленно находило воплощение в конкретных звуках. Программа получилась ударной "Право", "Кого ты хотел удивить", "Свеча", "Будет день", "Хрустальный город". Почти сразу мы написали "Поворот" и "Ах, что за луна". Все шло на колоссальном подъеме, мы очень нравились друг другу и чувствовали себя на коне. Первые сейшена прошли с успехом и утвердили нас в наших начинаниях. Тяготило только одно - полнейшая замкнутость сейшенового круга зрителей. Когда в очередной раз мы приезжали в какую-нибудь Малаховку и я не мог найти в зале ни одного незнакомого лица (они все, как и мы, тащились туда из Москвы), у меня пропадало всякое желание играть. К тому же после истории с неудавшейся конфискацией аппаратуры контроль за нами осуществлял не кто-нибудь, а непосредственно горком партии в лице инструктора по культмассовой работе т.Лазарева, и я понимал, что рано или поздно все это



плохо кончится. Я бешено завидовал группе "Аракс", которая неожиданно обрела как бы профессиональный статус, оказавшись в Театре Ленинского комсомола. В-первых, театр с приходом Марка Захарова заставил заговорить о себе всю Москву (собственно, взять в театр группу и ввести ее в действие и было идеей Захарова). Я ходил на "Тиля" раз пять, и мне очень нравилось. И группе было совсем не стыдно в этом участвовать - никакой вокально-инструментальной проституцией здесь не пахло. Но самое главное - что, помимо всего этого, можно было спокойно заниматься своей музыкой и своими песнями, и тогда уже сейшн становился не криминально-подпольным мероприятием, а вполне легальной творческой встречей с артистами известного театра. Я понял, что в этом наше спасение. Мы лихорадочно стали искать театр. Возможности для поисков были, так как мы теперь практически жили в студии ГИТИСа и все ее посетители готовы были нам помочь. Говоря слово "жили", я не грешу против истины. Мы проводили там все время - даже если не репетировали. Я часто отпрашивался из дома на ночь под тем предлогом, что надо, дескать, стеречь хранящийся на студии аппарат. Это была неправда - просто очень уж на студии было интересно и уходить не хотелось вообще. Итак, театр для нас искался общими усилиями. Велись, помню, даже переговоры по нашему поводу с Театром на Таганке, но Любимов сказал, что пока наличие группы в театре в его планы не входит. И вот однажды вечером к нам в студию приехал настоящий театральный режиссер. Имел он внешность более чем режиссерскую, руководил Московским гастрольным театром комедии при Росконцерте, и фамилия его была Мочалов. Он тут же принялся читать нам отрывки из комедии Шекспира "Озорницы из Виндзора" в какой-то своей новейшей интерпретации. Он просто весь горел. Я плохо слушал

трансформированного Мочаловым Шекспира. Я видел, что фортуна преподнесла нам волшебный шанс и что с завтрашнего дня и навсегда жизнь наша пройдет по совсем другим, неведомым и радостным рельсам. Мочалов ушел в ночь, унося наше согласие.

- 16

Мне предстояла небольшая формальность - увольнение из "Гипроттеатра". Прощание было трогательным. Меня провожали, как старика на дембель. Ровно месяц спустя, когда мне понадобилась какая-то бумажка, я заехал в "Гипроттеатр". Время было обеденное, и я, никого не встретив, поднялся на третий этаж, зашел в свою комнату и сел за чертежный стол, за которым просидел шесть лет. Шесть лет! И мне стало страшно, что я мог бы сидеть за ним и дальше. Простите меня, братья-архитекторы.

Началась наша трудовая жизнь в театре. Сейчас мне будет сложно. Я совсем тогда не разбирался в театрах. Я и сейчас-то в них не очень разбираюсь. Хотя очень люблю. И поскольку относительно редко в них бываю, каждый поход в театр для меня уже праздник. А тогда это была первая встреча с театром изнутри. И все было в новинку, все интересно. Во мне с детства жило жуткое любопытство - как же это все делается: кино, театр. И тут у меня есть одно серьезное оправдание. Если человек никогда в жизни, скажем, не видел птицу, то можно показать ему комара и сказать, что это птица и есть, и он так и будет думать, пока, конечно, не встретит птицу настоящую. А может и не встретить.

Театры бывают разные. Бывают хорошие, бывают не очень, бывают плохие и очень плохие. Наш был какой-то совсем особенный. Я это понял не сразу. Где-то через полгода. Примерно столько мы в нем и проработали. Наверно, в каждом театре живут склоки. В каждом театре артисты, скажем так, выпивают. Ничего нового. Дело, видимо, в степени. Степень в нашем театре была

превосходная. Но и это не главное. Главное в любом деле результат. Начались читки пьесы. Мне велено было присутствовать с целью рождения музыкальных идей (мы ведь были композиторами спектакля!). Ах, как все это сначала было мне интересно - читки! Когда пошли репетиции, у меня кое-где возникли сомнения по поводу безупречности режиссуры. Но жила во мне святая уверенность, что все люди, занимающиеся творчеством, относятся к своему делу так же, как мы к своему, и если, скажем, мы не можем позволить себе схалтурить, то и они тоже. Я, честно говоря, и сейчас, как ни странно, пребываю практически в этом же заблуждении. Может быть, просто не у всех получается (часто я с этой уверенностью садился в лужу). Так что я без особых усилий свои сомнения отогнал, мотивируя, что режиссер - это режиссер, и ему, стало быть видней.

Мы довольно легко написали музыку и несколько песен на стихи Шекспира и Бернса. Настало время сценических прогонов. В конечном счете режиссерская концепция комедии выглядела так. Посреди сцены, чуть в глубине, на небольшом возвышении, располагалась группа "Машина времени" в грубых шарфах, что должно было тонко намекать на причастность действия к семнадцатому веку. Действие происходило непосредственно на нашем фоне. По ходу его мы должны были время от времени играть музыку, но так, чтобы не заглушать голоса актеров, которые работали, естественно, без микрофонов. Получалось тихо до отвращения. На этом же уровне громкости мы исполняли написанные нами песенки, честно стараясь не нарушить художественной ткани спектакля.

Сдача спектакля худсовету Росконцерта и Министерства культуры прошла на "ура". Очень, кстати, помог нам куратор из горкома партии, который дал нам блестящую словесную характеристику и выразил чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что

мы прибились, наконец, к серьезному берегу. Как я понимаю, он был просто счастлив, что мы, став профессиональными артистами, уходим из его культмассового ведомства под бдительное око совсем другого куратора.

Когда я увидел афишу, что-то нехорошее во мне зашевелилось вновь. Афиша выглядела так: очень крупно наверху - "Ансамбль "Машина времени", и дальше мелко - "В спектакле Московского театра комедии "Виндзорские насмешницы" по пьесе В.Шекспира". Обезумевший молодняк, впервые увидев

- 17

наше подпольное имя на официальной афише, ломанулся на пьесу. Они действительно увидели любимую команду на сцене. Мало того, могли любоваться на нее два с лишним часа - но все время мешали какие-то актеры со своей чепухой. В первом акте наши честные фаны еще надеялись, что мы одумаемся и сбцаем если не "Поворот", то хотя бы "Солнечный остров". Мы же вместо этого играли совершенно неизвестные песенки на грани разборчивости звука. У меня все время было ощущение, что мы участвуем в каком-то обмане, хотя, когда я пытался разобраться - вроде никакого обмана не получилось. Кстати, спектаклю хлопали - вот что поразительно! Загадочен и непредсказуем наш зритель.

Потом случилась зима. Театр наш не имел тогда своего помещения базировался он во Дворце культуры "Серп и молот", а вообще считался гастрольным. И вот в декабре мы с театром отправились на двадцатидневные гастроли в Сочи (я до сих пор не могу постичь глубины этой затеи почему в декабре и в Сочи? Можно ведь было и в Арктику). Странная это была поездка, как, впрочем, и все, связанное с нашим театром. Я вспомнил все до мелочей, когда посмотрел фильм "Асса". Мы привыкли видеть Сочи жарким и пыльным, доверху наполненным

народом. Город был пуст, насколько может быть пуст город. Пальмы от холода спрятали внутри странных конструкций из досок и мешковины, и они торчали вдоль набережной, как диковинные истуканы. Двери кофеен, забегаловок, ресторанов были открыты - и никого. А сквозь облака проглядывало солнце, и трава хранила зеленый летний цвет, и море гуляло по безлюдному пляжу, и что-то в этом было нереальное и совершенно замечательное. Из всех двадцати дней пьеса с нашим участием шла дважды - в первый день и, кажется, в последний. Мы были предоставлены сами себе.

На самую середину гастролей пришелся мой день рождения. Все мы очень ждали выдачи зарплаты к этому моменту. Зарплаты не случилось. И тогда мы сделали самое, казалось бы, нелогичное в этой ситуации - взяли шапку и выгребли из карманов все, что оставалось, до копейки. Хватило на два ящика замечательного молдавского ординарного "Каберне" и почему-то на мегафон (кажется, мне в подарок). Мегафон доставил нам немало радости. Оказывается, психология нашего гражданина устроена таким образом, что команда, звучащая через мегафон, обретает просто магическую силу. Во всяком случае, самые причудливые распоряжения, отдаваемые нами с балкона четвертого этажа гостиницы "Ленинград", выполнялись людьми и автомашинами беспрекословно. В лучшем случае человек мог начать исподтишка озиаться - откуда это им командуют. Но наверх посмотреть не догадался никто. Сильная вещь мегафон!

По возвращении в Москву случилась история, совсем уже укрепившая меня в мысли, что театр мы выбрали не тот. Режиссер Мочалов, потерявший, видимо, голову от сборов, наконец-то поливших в кассу театра с нашей помощью, решил убить слона. С этой целью был объявлен спектакль в городе Воскресенске. Состояться

ему надлежало в местном Дворце спорта. Рукописная афиша была выполнена еще более произвольно, чем обычно, и, кроме нашего присутствия, понять в ней вообще ничего было нельзя. Посреди громадного Дворца спорта сверкало льдом хоккейное поле. Прямо за воротами, в торце, располагалась сцена. Стояла лютая зима. Из рта у актеров валил пар. Актеры, надо сказать, за два часа автобусной тряски до Воскресенска сильно замерзли и попытались в дороге "согреться". Возможно, они переусердствовали. Я не могу их осуждать. Во всяком случае, путали они уже не слова и фразы, а свои роли и в процессе спектакля почти все поменялись друг с другом. Иногда они падали не к месту. Впрочем, все это не имело никакого значения, так как слова все равно не долетали до трибун. Трибуны были полны. Терпеливые

- 18

воскресенские хлопцы молча сидели и ждали, когда кончится вся эта бодяга и будет обещанная "Машина времени". Молчание зала становилось все более недобрым. К антракту стало ясно, что будут бить. Прибежал режиссер в слезах и просил ради спасения жизней сыграть хоть маленький концерт. Это было невероятно - мы возили на спектакли ровно столько аппарата, сколько нужно для того, чтобы не заглушать голоса артистов. Но я понял, что выхода нет. Второй акт Шекспира отменили. Вместо него состоялся импровизированный концерт "Машины времени" на комарином, правда, звуке, зато на большом подъеме. Воскресенцы кидали вверх шапки и требовали "Поворот". Гроза миновала.

Не думаю, чтобы мы долго еще оставались в театре после этой истории. Но помогло нам следующее. В Росконцерте, видимо, решили, что с нас можно стричь значительно больше, если, скажем, отделить от театра и задействовать на полную катушку. Вследствии чего

нам и было предложено показать нашу собственную программу худсовету. Мы долго отстраивали аппарат, стараясь уловить ту середину, которая позволит сохранить приличное звучание и в то же время не напугает комиссию. Задача оказалась невыполнимой. Получалось или громко, или плохо. Я был в отчаянии. В назначенное время в зал вошли несколько благообразных филармонических старичков, и нас попросили начинать. Я понял, что мы пропали. Мы никогда еще не играли на пустом зале. То есть репетировали, конечно, но это совсем не то. Поддержка зала, его дыхание были нам необходимы. Зал щерился на нас пустыми креслами, старички примостились где-то во мраке. И тут меня взяла злость. Мысль "пропадать - так с музыкой" наполнила меня детским восторгом, и мы грянули. Я целился в невидимых старичков каждым словом, каждой нотой. Очень страшно, когда заканчивается песня и вместо шума, крика, аплодисментов - мертвая тишина. Никакой артист, я уверен, в подобной обстановке хорошо работать не сможет. Но мы старались. Мы сыграли так, как нравилось нам.

Я ждал чего угодно. Разноса, вежливого отказа, увольнения из театра и прочих мерзостей. Выходя из зала, старички по очереди нам улыбались. Я ничего не понимал. На следующее утро нас пригласили в Росконцерт. Мы, робея, вошли в дверь с тяжелой доской золотом по черному: "Директор художественный руководитель объединения художественных коллективов Росконцерта Холопенко Б.М.". Худсовет был в сборе. На нас поглядывали радостно и плотно. Называли ласково и фальшиво "ребятами". Я понял, что вопрос уже решен. Тут же сидел на стуле онемевший от горя режиссер Мочалов. У него только что отобрали курицу, несущую золотые яйца. Он слабо пытался

удержать уходящий поезд. На него цыкали довольно бесцеремонно.

Через несколько дней мы получили ЛИТ на нашу программу (настоящий ЛИТ, а не липовую печатку Дома народного творчества), и сам министр культуры РСФСР утвердил наши ставки. Ставки были десятирублевые, и в вокально-инструментальном жанре, к которому нас отнесли, это являлось потолком. (Одна из многочисленных загадок законотворчества Министерства культуры - почему просто вокальные ставки могли быть и 12, и 14, и 16 рублей - то есть если ты просто поешь, то, видимо, затрачиваешь труда больше, чем когда поешь и еще сам себе аккомпанируешь. Вообще обо всех этих чудесах стоило бы написать отдельную книгу.) Наличие у нас ставок говорило о том, что за выход на сцену в концертном зале мы получаем по 10 рублей на рыло, за выход на сцену Дворца спорта или стадиона двойную ставку, то есть 20 р. "За выход" - это тоже гениальное изобретение Минкульта. Сколько ты работаешь на сцене - одну песню, пять, десять или целый концерт - не имело значения. Это все был "выход". Поэтому, скажем, конференсье, появлявшийся перед нами и торжественно

- 19

произносивший: "А сейчас - "Машина времени", получал больше нас, так как имел разговорную ставку 17 р. Произнеся заветную фразу, конференсье шел пить кофе, а мы пахали час за свои вокально-инструментальные 10 р. В принципе нас никто не заставлял работать целое отделение. Но зритель шел на нас, воспринимая все остальное как нагрузку. Без нагрузки нас тоже не пускали: должен же был кто-то эту нагрузку кормить! А обмануть зрителя, пришедшего на нас, - спеть три песни и поклониться, - мы не могли.



Итак, прошло несколько дней с момента, определившего нашу самостоятельную профессиональную судьбу, и мы уже ехали на первые гастроли в город Ростов. Теперь это были самые настоящие гастроли, а не подпольная вылазка на сейшн. Многое поражало - и то, что билеты на поезд тебе кто-то покупает, и что тебя уже ждет гостиница, и ты живешь в ней, как человек, а не мыкаешься по квартирам друзей-музыкантов. И что самое поразительное - это то, что и с вокзала до гостиницы, и от гостиницы до Дворца и обратно тебя везут на специальном автобусе. Служа в "Гипротее", я все время ездил на работу на метро, и мне как-то не приходило в голову, что у артистов существует другой способ передвижения. Я еще некоторое время шарахался по привычке от милиционеров во Дворце - прошла пара месяцев, пока я привык к мысли, что теперь они приходят нас не вязать, а охранять.

Нам повезло - в первую поездку с нами отправился ансамбль эстрадного танца "Сувенир" под управлением Тамары Головановой (третье гениальное изобретение Минкульта - сольные концерты во Дворцах спорта были запрещены. Место имели так называемые "сборные" - может быть, кто-то еще помнит? Этаким концерт, в котором сразу все: акробаты, цыгане, медведи, Кобзон, искрометный юмор конференсье и, скажем, мы. Ничего нельзя было поделаться). С "Сувениром" нам тем не менее действительно повезло: они были лучше многого из того, что нам могли навязать. Мы сразу влюбились друг в друга: такие они все были замечательные, веселые, дружные - какие-то прямо инкубаторские - и очень самостоятельные. Они на нас тоже смотрели с восторгом, как на героев из некоего параллельного мира. Вообще в том, что мы вдруг оказались на легальной эстраде, было что-то невероятное. У "Сувенира" имелся уже богатый гастрольный опыт с

поездками за рубеж, и мы слушали их нескончаемые истории раскрыв рты. Общались артистки и артисты "Сувенира" на совершенно отдельном языке, ими же созданном. В общем, в основе лежали русская фонетика и морфология, но отличался он от ортодоксального русского в корне. Жалко, никто не составил словаря этого языка - он ушел в прошлое, как санскрит. Танцевали в "Сувенире" тогда здорово, вкалывали как звери, получая еще меньше нас (песенка моя "Заполнен зал, в котором было пусто" как раз относится к тем временам). Могу добавить, что проездили мы с ними долго, и наша нынешняя балетная группа как раз из того "Сувенира" - восьмидесятого года.

Помню животный свой страх на первом концерте в Ростове - "Сувенир" отплясал свое, объявили антракт, и нам предстояло за пятнадцать минут выставить аппарат на сцену. На сейшене этот процесс занимал гораздо больше времени и всегда что-нибудь не работало. Дворец спорта превышал по размеру любой наш сейшеновый зал раз в десять, и я не представлял себе, что делать, если что-то откажет. В первый день все обошлось. Сломалось, когда я уже успокоился, - на третий. Профессионализм - вот чему нам предстояло учиться. За Ростовом последовал Харьков, потом Одесса, потекла гастрольная жизнь, пока светлая и безоблачная.

В это время случился знаменитый фестиваль в Тбилиси - "Весенние ритмы-80". Устроен он был с истинно грузинским размахом: приглашена масса групп, концерты идут целую неделю, напечатаны плакаты, значки,

- 20

присутствует пресса, даже иностранная, - по тем временам все это выглядело невероятно. Участвовали и профессиональные, и любительские команды на равных. Это было принципиально ново. в жюри

председательствовал Юрий Саульский, и дух фестиваля обещал быть радостным и демократичным. Одна, правда, вышла накладка - как всегда, с аппаратурой. Всем участникам было обещано, что в Тбилиси их ждет комплект "Динакорда" - по тем временам недостижимая мечта любой команды. Поэтому никто практически с собой ничего не привез. Так вот, "Динакорда" на месте не оказалось. Пришлось выходить из положения подручными средствами. В каждом концерте играли по три группы, и они вынуждены были вскладчину выставлять на сцену все, что найдется. Кто с кем и когда играет - решала жеребьевка. И нам опять повезло: нам выпал день с группой "Интеграл", которая приехала в Тбилиси прямо с гастролей и чисто случайно привезла полный трейлер аппаратуры. Удача! Мы сыграли где-то в середине фестиваля, кажется, на третий день. Чувствовали мы себя, конечно, уверенней, чем четыре года назад в Таллинне, но на такой успех не рассчитывали. Очень уж много участвовало групп - хороших и разных. И, кстати, всех принимали блестяще, кроме, пожалуй, "Ариэля" и группы Стаса Намина. И не потому, что они плохо сыграли - сыграли они отлично, - а потому, что "Ариэль" со своими как бы народными перепевами и Стасик с песней Пахмутовой "Богатырская наша сила" совершенно не попали в настрой фестиваля. Это была не "Красная гвоздика" и не "Советская песня-80". Призрак оттепели летал над страной, легкий ветерок свободы шевелил наши головы. В воздухе пахло весной, надвигающейся Олимпиадой и всяческими послаблениями, с ней связанными. Нам-то, дуракам, казалось, что это надолго. Конечно, степень этого ветерка свободы переоценивать не надо Боря Гребенщиков, игравший тогда в панк (никаким панком он, конечно, никогда не был), огреб за это телегу от Оргкомитета фестиваля, вследствие чего и вылетел из славного Ленинского комсомола, а заодно и из

института. Вообще после фестиваля было много разборов - и в Москве тоже. Но это было уже потом. Итак, мы выступили, и повторилась таллиннская история семьдесят шестого года - мы, ей-Богу, не рассчитывали - нам достаточно было этой реакции. Все музыканты нас поздравляли. Нервное напряжение спало, начался праздник.

Надо сказать, мы ехали в Тбилиси с некоторой опаской: это был наш не первый визит в столицу солнечной Грузии. Первый визит прошел весьма криминально и хорошо закончился просто чудом. Еще в семьдесят втором году один грузинский музыкант пообещал нам устроить в Тбилиси комплект "БИГа". "БИГ" - это была наша золотая так и не сбывшаяся мечта. Этаким пионерский комплект аппаратуры производства ВНР, куда входило сразу все: усилители, акустика, микрофоны, стойки для них, даже специальная подставочка на колесиках для звукооператора, куда ставились все усилители. То есть один такой комплект - и уже не надо ни над чем ломать себе голову. Думаю, о "БИГе" тогда мечтали все команды. Магазиновой цены этот волшебный комплект не имел, так как распределялся только по организациям, и на черном рынке тянул где-то четыре тысячи, или, как тогда объявляли, четыре куска, - деньги по тем временам немалые. Вот за четыре куска нам и пообещали такой "БИГ" в Тбилиси. Полетели мы втроем: я, Кутиков и бывший скомороший оператор Женя Фролов - он тогда собирался работать с нами. Не буду описывать всех перипетий нашего путешествия. Скажу только, что нас собирались, напоив по грузинским законам гостеприимства, швырнуть. Причем первая часть программы удалась приглашающей стороне на славу, и я до сих пор не понимаю, как это у них сорвалась вторая. Сорвалась благодаря случайной помощи совершенно

посторонних людей, доблести Кутикова и крайней безалаберности швыряющих. В общем, мы вернулись в Москву сильно потрясенные, но живые, не побитые и даже со своими деньгами. Так что теперь, восемь лет спустя, нам предстояло сломать в своих головах сложившийся стереотип коварного восточного человека. Это произошло, надо сказать, довольно безболезненно. Сразу же после нашего выступления нас стали приглашать в гости. Причем приглашавших было значительно больше, чем нас. Между ними возникали перебранки, переходящие в драки. Во избежание кровопролития нам приходилось максимально делиться, чтобы каждому досталось по маленькому кусочку "Машины". Молодые мы были и очень, видимо, выносливые. Сейчас бы мы такого гостеприимства не выдержали. Сугубо мужское грузинское застолье, завораживающие древние тосты, молодое кахетинское, шашлык во двореке, заверения в вечной дружбе - все это обрушилось на нас шквалом. В гостиницу мы возвращались под утро из разных мест на неверных ногах, распевая битлов и грузинские песни. Фестиваль между тем подходил к концу. Попасть в здание филармонии было невозможно: его окружало двойное кольцо милиции. В зале сидели зрители исключительно мужского пола, женщин до таких серьезных дел не допускали. По мере приближения к финалу ажиотаж нарастал. Все ждали решения жюри. Спустя несколько лет я с изумлением узнал, что во всем мире фестивали (в отличие от конкурсов) вообще не предполагают раздачу каких-либо мест. Какие места могли быть, скажем, на Вудстоке? Тогда мне это не приходило в голову. Силен все-таки во всех нас дух соревнования.

Жюри заседало долго. Музыканты томились у дверей, как школьники на экзамене. Зал ждал. То и дело доходили сведения о том, что из Москвы звонит

высокий чиновник от культуры и требует определенных мест для определенных артистов. Но жюри, растроганное отечественным рок-н-роллом и опьяненное призрачным ветерком свободы, решило по-своему. Мы поделили первое место с "Магнетик бенд".

Я сейчас вижу, что эти мои записки превращаются в список сплошных побед, удач, радостей и вообще эдакого безостановочного счастья. Конечно, все было не так гладко, постоянно и весело. Просто, видимо, голова моя устроена таким образом, что светлые моменты сохраняются в ней значительно лучше, чем все остальные. Тут уж ничего не поделаешь.

В Москву мы вернулись на коне, лопааясь от скромности, увешанные грамотами, призами и подарками. "Советская культура" напечатала какую-то маленькую, растерянную, но в общем позитивную заметочку о нашем лауреатстве. Тогда попасть в "Советскую культуру" - это было что-то. В те времена газеты еще о ком попало не писали. Впереди рисовалась гладкая, счастливая жизнь. Так нам казалось.

Веселая это была жизнь, но какая-то странная. Популярность наша достигла апогея. Под словом "популярность" я понимаю не количество людей, которые нас знают и хорошо к нам относятся, - сейчас таких людей больше, чем тогда, - а степень буйности помешательства на нашей почве определенного круга молодых ребят. Во Дворцах спорта творилось невообразимое, количество милиции приближалось к количеству зрителей, а единственным рупором, кроме концертов, оставались наши бедные самостийные записи. Да, пожалуй, еще возникшая радиостанция "Radio Moscow" крутила нас постоянно. Прослушивалась она на средних волнах не хуже, чем "Маяк", музыку передавала каждые тридцать минут из шестидесяти, а англоязычные комментарии можно было опускать. Я

усматривал во всем этом дальновидную внешнюю радиополитику - дескать, показать миру накануне Олимпиады, что у нас все есть. Теперь я понимаю, что объяснялось все проще - личными симпатиями младшего состава

- 22

редакции, безграмотностью руководства и общим бардаком. В общем, топтать нас еще не взялись, пока просто не замечали. Большой идеологический слон только начал поворачивать свою удивленную голову в нашу сторону.

Мы тем временем готовили так называемый "сольный концерт в двух отделениях" - категория, которая позволила бы нам хотя бы в концертных залах выступать без нагрузки. Мы восстанавливали "Маленького принца". Впервые он был сделан года полтора назад и пережил несколько редакций. Литературную часть исполнял некто Фагот - старый наш приятель по хипповой тусовке, человек весьма своеобразный и колоритный. Сделаны были специальные декорации в виде черных и белых ширм, костюмы шил не кто-нибудь, а сам Вячеслав Зайцев. Мы готовили триумф. Непосредственно после успешной сдачи программы предполагались сольные концерты в самом Театре эстрады, и билеты уже поступили в продажу. Слово "поступили" здесь не годится. Они исчезли, не успев возникнуть. Несколько суток у касс ночевали молодые люди. По ночам они жгли костры.

А закончилось все очень быстро и просто. На сдачу нашей программы приехал товарищ из ЦК КПСС с очень популярной русской фамилией. Не знаю уж, чем мы обязаны были столь высокому вниманию - видно, докатился до верха шум от тбилисского фестиваля. Товарищ посмотрел нашего "Маленького принца", произнес магическое слово "повременить" и уехал. Больше мы с ним не встречались. Мы, собственно, и

тогда не встречались - обсуждения происходили при закрытых дверях. А "временили" нас после этого лет шесть. Не разгоняли, не сажали, не увольняли по статье, а именно "временили". И это, наверно, было самое противное. Олимпиада просвистела в один момент, не оставив никаких особенных следов в нашей жизни. И гайки со скрипом закрутились в обратную сторону.

В "Московском комсомольце" примерно в это время появился хит-парад. Первого января 1981 года песня "Поворот" была объявлена песней года. Она продержалась на первом месте в общей сложности восемнадцать месяцев. И все эти восемнадцать месяцев мы не имели права исполнять ее в концертах, потому что она была, видите ли, не залитована, а не залитована она была, потому что редакторы Росконцерта и Министерства культуры не посылали ее в ЛИТ, так как имели сомнения относительно того, какой именно поворот мы имели в виду. То, что "Поворот" звучал на "Radio Moscow" по пять раз на дню, их абсолютно не волновало.

Это было потрясающее время! Я пытаюсь вызвать в памяти атмосферу тех дней, и это мне уже почти не удастся. Как легко все забывается! Время это казалось вечным: оно не двигалось. Три генеральных секретаря отдали Богу душу, шли годы, а время стояло, как студень. Время какого-то общего молчаливого заговора, какой-то странной игры. И, как это бывает в полусне, все вяло, все не до конца, все как в подушку. Наверняка в тридцатые годы было страшнее. А тут и страшно-то не было. Было безысходно уныло. Один шаг в сторону, и, нет, никто в тебя не стреляет, просто беззвучно утыкаешься в стену. Солженицын считал, что стена эта на соломе нарисована - ткни, и рассыплется. Мне она всегда представлялась сделанной из студня. Студень очень трудно проткнуть. В нем легко увязнуть.



В восемьдесят втором году "Комсомольская правда" грянула по нам статьей "Рагу из синей птицы". В принципе по нам уже постреливали и раньше - то Владимов затевал полемику на тему "Каждый ли имеет право?" (выходило, что мы не имеем), то кто-то еще, но все это размещалось на страницах газет типа "Литературной России", и никто к этому, конечно, серьезно не относился. А "Рагу" было уже рассчитано на добивание. И общепатетический тон в лучших традициях Жданова, и подписи маститых деятелей сибирского искусства (половина этих подписей потом оказалась

- 23

подделкой) - все это шутками уже не пахло. Если бы стены были из более жесткого материала - нас бы по ним размазало. Или бы мы пробили их собой и оказались с той стороны. Но студень амортизировал. И мы остались живы. А может быть, помогла защита миллионов наших поклонников. Я видел в редакции мешки писем под общим девизом "Руки прочь от "Машины". Время от времени мешки сжигали, но приходили новые. Писали студенты и солдаты, школьники и колхозники, рабочие и отдельные интеллигенты. Коллективные письма дополнялись рулонами подписей. Я не ожидал такого отпора. В газете, по-моему, тоже. Поэтому они тут же разулыбались и свели все это дело к такой общей беззубой полемике: дело, дескать, молодое, и мнения тут могут быть, в общем, разные. Я писал письмо заведующему отделом культуры ЦК ВЛКСМ, как сейчас помню, товарищу Боканю, где перечислил все ляпы и ошибки статьи. А ляпов там было предостаточно. Думаю, что автор Ник. Кривомазов, дав статье подзаголовок "Размышления после концерта", на концерт наш не ходил, а выполнил социальный заказ, не покидая кабинета, прослушав кое-какие записи,

часть из которых была вообще не наша, а группы "Воскресенье", а часть относилась к семьдесят восьмому году. Мне было даже обидно, что по нам так неточно и невпопад стреляют. Получил я ответ от т. Боканя, что не туда, дескать, смотрю. Что не на мелочи всякие следует смотреть, а в корень, а в корне деятели сибирской культуры вкупе с Кривомазовым правы и надо бы мне, как младшему товарищу, к их мнению прислушаться. Храню этот ответ, как память.

А Коля Кривомазов жив-здоров, очень прилично выглядит и даже получил повышение: служит нынче уже не в "Комсомольской", а в самой настоящей "Правде". Бежит времечко!

"Рагу из синей птицы" совпало с нашим очередным и последним расходом. Я уже несколько месяцев знал о том, что Мелик-Пашаев собрался валить и что не один, а с Петей Подгородецким, Игорьком Кленовым, нашим тогдашним звукорежиссером и очень способным музыкантом, и Димой Рыбаковым - он числился у нас рабочим, но при этом писал смешные, хорошие песенки. Я знал, что они втихаря репетируют, и очень мне было неприятно, что все это как бы втайне от меня. С другой стороны, расход с Мелик-Пашаевым ощущался как неизбежность - как-то не жилось нам вместе. В уходе остальных ребят была, конечно, доля его заслуг, но в то же время, если люди хотят делать свое дело, глупо на них обижаться или им мешать. Тяготило одно: с каждым разом становилось все труднее искать новых музыкантов, знакомиться с ними, репетировать старые вещи - словом, еще раз проходить уже пройденный тобой путь. На этот раз как-то никто не искался. Вечная наша беда с клавишниками! Петя умудрялся заполнять своей игрой очень большое пространство в нашей музыке, и теперь заполнить его было нечем. Может быть. поэтому на его место пришли два человека.

Сережа Рыженко предложил себя сам. Знакомы мы были давно - знали его по "Последнему шансу". Это была самая настоящая площадная скоморошья группа - такие бродили, наверно, по городам лет триста назад. Звуки они извлекали из чего угодно - из стиральной доски, пустых банок из-под пива, каких-то дудочек. Имел место настоящий тумбофон - фанерный ящик, из которого торчала палка с единственной веревкой - струной. Кроме тумбофона, Сережа играл на скрипке, на гитаре, на деревянных флейтах, на всех видах банок и погремушек, пел, скакал и вообще очень был на своем месте и очень хорош. Меня в его предложении смущали две вещи: я не хотел разваливать "Последний шанс" и не был уверен, что скоморошья манера Сережи подойдет для "Машины". Оказалось, что из "Шанса" он и так уже ушел по своим соображениям, а образ можно попробовать и изменить. Образ он, надо сказать, так и не изменил, потому что острой необходимости в

- 24

этом не возникло - оказалось, что он вполне вписывается и так. Расстались мы год спустя, и я думаю, по той причине, что Сереже приходилось исполнять у нас в музыке сплошь вспомогательные роли. То есть когда вещь была практически готова, но чего-то чуть-чуть не хватало - брался Рыженко со скрипкой, дудочкой или чем угодно, и брешь затыкалась. В "Шансе" Рыженко был одним из лидеров, и, конечно, ему стало неинтересно заниматься отделочными работами. К тому же к моменту ухода Сережи Заяц уже освоился, окреп, и мы вполне могли обходиться вчетвером.

Заяц, то есть Саша Зайцев, выявлен был в окружающей среде по наколке Вадика Голутвина. Мы договорились по телефону о встрече у меня дома, явился Кутиков, и мы принялись ждать. Заяц оказался совсем молодым человеком с небесно-голубым взором и

мягкими манерами. Во взоре читалось некое просветление. Выяснилось, что вездесущий Кутиков уже знал его по какой-то его прошлой группе (меня всегда поражала эта вот способность Кутикова всюду поспевать). Что до меня, я не был потрясен манерой Зайцевой игры, но все остальное мне очень понравилось.

Поначалу Заяц с трудом замещал Петину вакансию. Если от Петиной игры смело можно было убавлять, то к Зайцевой хотелось что-то все время добавить. К тому же в каких-то уже сделанных вещах ему приходилось просто исполнять придуманные Петей партии, а это было тяжело и физически, и морально, я думаю. Однако все встало на свои места. Все в конце концов встает на свои места с течением времени. А потом было множество поездок по большой нашей стране, а потом нас наконец пустили с концертом в Москву, и то сначала не в Москву, а в Сетунь (не так, кстати, давно - в восемьдесят шестом), а потом в Польшу, а потом вдруг сразу в Японию, а потом было еще много стран, и первая наша пластинка, которую на "Мелодии" в ознаменовании перестройки спешно сляпали без нашего участия, а потом вторая, которую мы уже делали сами, и музыка для кино, и съемки, и многое другое, чему здесь не хватит места. Кино в нашей жизни сыграло отчасти спасительную роль. Нас выручала несогласованность ведомств - такая система удельных княжеств. В результате в тот момент, когда нас готовились дотоптать на эстраде, вдруг выходил на экраны фильм "Душа", и мы как ни в чем не бывало улыбались с афиш из-за спин Софии Ротару и Боярского, а когда три года спустя в разгар съемок "Начни сначала" до руководства "Мосфильма" доходило указание, что снимать нас все-таки не следует, мы приносили охранную грамоту, из которой следовало, что "Машина" является участником культурной

программы XII Международного фестиваля молодежи и студентов в городе-герое Москве и, стало быть, топтать нас опять-таки не за что. А когда месяц спустя мы получали плюху от Министерства культуры за то, что что-то там не то на этом фестивале спели, кино уже было снято и поздно было махать руками.

Все эти тактические игры вспоминаются сейчас как дурной сон. Позвонил мне недавно один знакомый литератор-публицист и предложил выступить с серией разоблачительных материалов о разных чиновниках от культуры эпохи застоя, которые сегодня, значит, спрятали свой звериный оскал под розовыми масками перестройщиков и перестройщиц. Я отказался, и не потому, что я кого-то боюсь или жалею, а потому, что дело не в них. Эти ребята - честные солдаты своей армии, и пока есть у нас министерства культуры, управления культуры (что, кстати, не одно и то же), отделы культуры и т.д., глупо предполагать, что вот этот у них как бы хороший, а вот этот, скажем, плохой. Все они и сегодня в едином строю и такие, какими им сегодня велено быть. Надо будет - все что угодно перестроят.

- 25

Я с трудом слушаю сегодняшнюю музыку. Нет, это не касается Тины, Стинга, Джеггера, Клэптона, Коллинза и прочих стариков. Мы с ними еще из того, из иного измерения. Я до сих пор жду, что возникнет какая-нибудь юная команда и вновь перевернет мир, как битлы четверть века назад. Напрасно я жду. Видимо, с помощью музыки можно перевернуть мир только один раз. И даже "Ласковый май", как ни верти, не вызывает у меня слез умиления, и я торчу из рыдающего моря пятнадцатилетних с абсолютно сухими глазами. Я ловлю себя на том, что, если бы мне сейчас было пятнадцать и я услышал то, что слушают они, я бы совершенно точно выбрал в жизни другое

занятие. Есть такое понятие: цепляет - не цепляет. Не цепляет. Когда-то еще давно я вывел для себя определение, по которому человека можно отнести к старым. Старый человек тот, кто перестает воспринимать и начинает вспоминать. Что ж, судя по тому, чем я в данный момент занимаюсь, меня смело можно отнести к этой категории. С одной только оговоркой. Я помню, сколько грязи и непонимания лили на любимых моих битлов двадцать лет назад старшие товарищи и граждане и как я отстаивал их со слезами на глазах и готов был биться до последнего. Недавно я видел девочку, грудью вставшую на защиту ее любимого "Ласкового мая", и вспомнил себя. Все, конечно, течет. Ничего не бывает вечным. Если только не забывать, что битлы и "Ласковый май" стоят чуть-чуть на разных ступеньках. С точки зрения искусства, что ли. Или Духа. Или я ошибаюсь?